



ИНКУБАТОРЫ РАЗУМА

Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов

Инкубаторы разума

<https://litres.ru/74128438>

SelfPub; 2026

Аннотация

Двадцать лет человечество принимало невозможно изящные открытия — хирургические доступы, лекарства, нейроимпланты — как дары неизвестного благодетеля. Никто не спрашивал, чем платим. Нейрохирург Амара Оконкво спасла этой подаренной медициной собственную дочь и поверила в дар первой. Когда её брат-астронавт возвращается с края системы с серебряным фракталом на виске и говорит чужими голосами о созревающем урожае, Амара узнаёт чувство, которое всю жизнь вело её руку у стола. Через двенадцать часов корпорация Synaptix замкнёт Ткацкий Станок — и человечество узнает, кому оно принадлежало все эти годы. У Амары — одни сутки, чтобы выбрать, чьей рукой перерезать поводок.

Содержание

Часть первая. Дарёные руки	4
Часть вторая. Поводок	15
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Эдуард Сероусов

Инкубаторы разума

Часть первая. Дарёные руки

Аневризма сидела в развилке средней мозговой артерии — в месте, куда семь лет назад не вошёл бы никто и где сегодня работала Амара Оконкво, не повышая пульса.

Семь лет — она помнила этот рубеж точно, потому что помнила доклад, после которого он сдвинулся. Конференция, чужой человек на сцене, молодой, почти смущённый, показывает доступ через борозду, которого нет ни в одном атласе, и объясняет его словами «так просто чувствуется правильным». Зал молчал. А через полгода этот доступ делали везде, и пациентов, которых раньше закрывали и отправляли домой умирать, поднимали и выписывали. Так приходило в её профессии всё в эти двадцать лет — не выстраданным трудом, а внезапным изяществом, упавшим будто с неба. «Необъяснимо элегантно» — была такая рубрика в журналах, и под ней выходило открытие за открытием. Никто не спрашивал откуда. Спрашивать было невежливо. Дарёному коню в зубы не смотрят.

— Отсос, — сказала она. — И свет чуть левее. Спасибо. Микроскоп держал в фокусе участок мозга размером с но-

готь, и в этом квадрате решалось всё. Тонкостенный мешок набух на стенке сосуда, как капля, готовая сорваться. Один лишний миллиметр клипсы — и она пережмёт перфорант, питающий речевые зоны; пациентка проснётся немой. Один недожатый — и через сутки мешок лопнет где-то посреди её собственного сна, и не проснётся вовсе.

Под микроскопом всё было тихо и медленно. Над микроскопом, в большом мире операционной, попискивал монитор, шуршала вентиляция, кто-то из сестёр переступил с ноги на ногу. Амара слышала это краем, как слышишь погоду за окном. Сорок один год, двадцать у стола, и она давно научилась тому, чему нельзя научить на лекциях: отделять руки от страха. Руки шли в поле. Страх оставался снаружи, у двери, ждать.

Её рука пошла вперёд.

Вот тут всегда было странно. Амара не принимала решения — оно уже было принято, ниже мысли, и пальцы исполняли его раньше, чем она успевала сформулировать почему. Клипса легла под углом, какого нет в атласах: чуть наискось, обходя перфорант на полволоса, садясь на шейку мешка так, что тот спался разом, аккуратно, как закрытая ладонь.

Красиво, сказал бы любой в галерее. В операционной слово «красиво» значило другое — значило, что пациентка будет говорить.

— Держит, — выдохнул ассистент. — Доктор, как вы под таким углом вообще...

— Удачно легло.

Это была её обычная фраза. Она повторяла её годами и годами не задумывалась, что в ней неправда.

Потому что в тот короткий миг, когда клипса находила свой невозможный угол, у Амары всегда было чувство — мимолётное, на полсекунды, легко спишимое на двенадцатый час смены. Будто поверх её собственной уверенности ложится чужая, большего размера, и знает то, чего Амара никогда не учила. Она давно перестала её замечать, как перестаёшь замечать собственное дыхание. Молодой хирург боится, что у него не получится. Зрелый — привыкает, что получается само, и забывает спросить, чьё это «само». Чувство было приятным. Оно было как тёплая рука старшего поверх твоей, направляющая, когда ты учишься писать. В этом и состояла беда, хотя беды Амара в нём пока не видела.

Кровь пришла без предупреждения.

Тонкая струйка из-под клипсы — там, где минуту назад всё держало — обернулась пульсирующим ключом, и поле зрения залило красным.

— Разрыв перфоранта, — голос Амары не изменился. — Отсос на максимум. Не паникуем.

Никто и не паниковал — она не разрешала. В операционной её спокойствие работало анестезией для всей бригады: пока доктор Оконкво говорит ровно, ничего непоправимого не происходит. Это была её репутация и её товар. Она торговала им двадцать лет, и за двадцать лет ни разу не позволила

бригаде увидеть, чего ей это стоит изнутри — как там, под ровным голосом, всё то же самое, что у двадцатипятилетней ординаторши: холодный обвал, бьющая в виски кровь, тонкий голос, повторяющий «только не сейчас, только не он».

Пальцы нашли источник раньше, чем глаза вычленили его в красном. Биполяр коснулся точки размером с песчинку — один импульс, выверенный так, чтобы запаять сосуд и не тронуть соседнюю ткань. Струйка осеклась. Поле начало проясняться.

И снова — то самое. Полсекунды чужой уверенности, ведущей её руку к точке, которую сама Амара в кровавом мареве ещё не видела. *Спасибо*, подумала она машинально, как думают «спасибо» удаче, и тут же забыла, кому.

— Чисто, — сказала она вслух. — Закрываемся.

Через сорок минут она стянула перчатки. Под левой, на запястье, обнаружился узкий пластиковый браслет — детский, госпитальный, с выцветшим штрихкодом и именем ZORA OKONKWO. Она носила его восьмой год. Восемь лет назад в этой самой больнице, тремя этажами выше, девочка с этим именем умирала, и Амара — лучшие руки города, гордость отделения — ничего не могла сделать своими лучшими руками, потому что болезнь Зоры не резалась. А потом пришла терапия. Внезапная, изящная, необъяснимая, как всё в те годы. Амара внедряла её в клинике одной из первых — стояла в первом ряду уверовавших, потому что у уверовавшего в первом ряду спасают дочь раньше очереди. Зо-

ра встала и пошла. И Амара срезала с её руки вот этот браслет и надела на своё запястье, под перчатку, к самому столу, к самой крови, и с тех пор не снимала. Чтобы помнить, чем расплатилась бы, если бы дара не было. Чтобы каждый раз, моя руки, видеть имя, ради которого стоит верить.

Перчатка всегда оставляла на браслете след пудры. Амара стёрла след большим пальцем — двумя касаниями, тем же движением, каким стирала кровь, — и пошла звонить домой.

Дом встретил её запахом подгоревшего тоста и светом настольной лампы из комнаты дочери.

— Я не сплю, — крикнула Зора прежде, чем Амара успела заглянуть. — И да, я поела. И да, я померила. Девяносто шесть. Можешь не спрашивать в порядке списка.

Список был старой их войной. Восемь лет назад, когда Зору только подняли, Амара вела дневник: давление, сатурация, сон, аппетит, настроение по десятибалльной. Тогда это спасало — нет, тогда это было способом не сойти с ума, превратить ужас в строчки, которые можно заполнить. Семь лет спустя дочь была здорова, насколько позволяла терапия, а Амара всё ещё спрашивала по списку, и дочь всё ещё отвечала по списку, оба понимая, что список давно не про здоровье. Он про то, что мать не умеет любить иначе, чем считая.

Зора сидела на полу, обложенная карандашами, спиной к кровати, которой почти не пользовалась — спать она пред-

почитала в кресле, у окна, и Амара давно перестала с этим бороться. Перед дочерью лежал лист: человеческая кисть, прорисованная до сухожилий, до того, как свет ложится на костяшки. Зора рисовала руки одержимо с тех пор, как снова смогла удержать карандаш. Только руки. Ни лиц, ни пейзажей — кисти, запястья, пальцы в разных положениях, сотни листов. Восемь лет назад она не могла застегнуть пуговицу.

— Красиво, — сказала Амара, опускаясь на край кровати. Слово вышло честнее, чем в операционной.

— Анатомически враньё. — Зора не подняла головы. — Сухожилие разгибателя тут идёт не так. Я знаю. Я просто рисую, как красивее.

— У тебя мать нейрохирург, а ты рисуешь руки неправильно назло.

— У меня мать нейрохирург, поэтому я знаю, *как именно* неправильно. — Карандаш не останавливался. — Это разные вещи, мам. Незнание — это случайно. А я — нарочно. Нарочно всегда красивее.

На тумбочке тихо горел монитор — нейроинтерфейсный, размером с книгу, считывающий с импланта в основании Зориного черепа ровную зелёную строку. Восемь лет назад этой строки не существовало в природе. Сейчас она была фоном их жизни, как тиканье часов в доме, которое замечаешь, только когда оно сбивается. Амара поймала себя на том, что считывает её краем глаза — машинально, всегда, в любой комнате, где есть Зора и есть монитор. Двадцать лет у

стола научили её глаз цепляться за тренды раньше сознания. Глаз цеплялся за зелёную строку дочери уже восемь лет.

Строка дрогнула. Короткий провал зелёного, всплеск, выравнивание.

Амара поймала себя на том, что уже стоит, что пальцы уже считают ритм по большому — тук, тук, фантомный шов. Провал был в пределах нормы. Она это знала. Артефакт движения, помеха, дочь повернула голову — сто причин, ни одной страшной. Она всё равно встала.

— Мам. — Зора наконец подняла голову. Глаза у неё были усталые, взрослее, чем полагалось пятнадцати — глаза человека, который однажды уже умирал и с тех пор смотрит на живых чуть сверху, с той стороны. — Это один артефакт. Сядь. Ты делаешь лицо.

— Какое лицо.

— «Сейчас посчитаю твою сатурацию и сделаю вид, что просто так подошла». Вот это. — Зора отложила карандаш — впервые за разговор. — Знаешь, что хуже всего быть тобой дочерью? Что меня всю жизнь любят как сложный случай. Я не девочка, мам. Я диагноз с хорошим прогнозом. Ты заходишь в комнату и сначала видишь строку, потом меня.

Амара не ответила сразу. Это было правдой, и обе это знали, и сказать «нет, что ты» значило бы солгать дочери, которая видела ложь так же, как Амара видела тренды.

— Поговори со мной как с человеком, — сказала Зора тише. — Скажи: «ты сегодня плохо выглядишь, дочь», как

нормальная мать. А не «клинический фон удовлетворительный».

Амара села обратно. Взяла с пола рисунок — эту слишком живую, слишком неправильную руку — и долго смотрела на неё, потому что на руку смотреть было легче, чем на дочь.

— Ты сегодня хорошо выглядишь, — сказала она наконец. — Это меня и пугает.

Зора фыркнула. Но не отодвинулась, когда Амара положила ладонь ей на затылок — туда, где под волосами пряталась тёплая выпуклость интерфейса. Восемь лет назад под этой ладонью была холодная кожа умирающего ребёнка, и Амара помнила тот холод пальцами, как помнят ожог. Сейчас — ровное тепло и ровная зелёная строка. Она держала ладонь и не говорила вслух того, что знал каждый хирург и о чём не думал ни один пациент: метод, который ты не умеешь объяснить, ты не умеешь и починить, когда он откажет. Восемь лет дочкина жизнь висела на нитке, которую соткал кто-то, чьего лица Амара никогда не видела, по правилам, которых никто не понимал. И всё это время Амара называла это спасением и была благодарна.

Телефон завибрировал. Не домашний — рабочий, и не обычным звонком, а тройным, который означал только одно: реанимация, сейчас, не обсуждается.

В машине диспетчер говорил кусками, будто сам не верил

тексту, который читал.

Космос. Возвращённый экипаж. «Релейная аномалия» на краю системы — три месяца назад корабли подошли к ней слишком близко, замерили, вернулись. Карантин сняли неделю как. И вот теперь — неврология, острая, у всех четверых, синхронно. Ведущий случай тяжелее прочих, поступил час назад, и нейрохирурга вызывают потому, что на снимках «структуры, которым нет названия».

— Имя ведущего? — спросила Амара, уже паркуясь.

Диспетчер замялся. Эта заминка сказала ей больше, чем всё остальное; она работала в больнице двадцать лет и знала эту секундную тишину — тишину человека, который сейчас произнесёт фамилию, и фамилия будет твоей.

— Оконкво, — сказал он. — Тунде Оконкво. Доктор, там в карте экстренный контакт... это вы.

Руки на руле не дрогнули — Амара двадцать лет училась, чтобы не дрожали. Дрогнуло ниже, там, где спокойствие не доставало.

Тунде. Младший на девять лет, родившийся, когда ей было девять, отданный матерью наполовину ей на руки — «присмотри за братом, Амара». Она присматривала всю жизнь. Это она читала ему по ночам, когда хоронили отца. Это к ней он пришёл в семнадцать сказать, что хочет в медицину, «как ты», и она два года писала за него конспекты, гордая до слёз. И это она два года назад подписала ему медицинский допуск к космической программе — поручилась своим именем, сво-

ей подписью нейрохирурга за то, что его мозг выдержит, — потому что он стоял перед ней с глазами того же мальчика, что в семнадцать, и говорил «там, наверху, Амара, фронтир, дарёный путь, как ты не понимаешь, человек наконец идёт вверх». Она понимала. Она верила в дарёный путь так же, как верила в дарёную медицину, спасшую её дочь. Она открыла ему эту дверь, как открывала все. Поставила подпись и обняла его на космодроме.

— Еду, — сказала она и не узнала собственный голос.

Реанимация встретила её синим светом мониторов и тишиной не той громкости. Сёстры расступились — не как перед врачом, а как перед роднёй, и от этого внутри окончательно оборвалось. За стеклом изолятора лежал её брат.

Тунде был в мягких фиксаторах, хотя не бился. Он смотрел в потолок зеркально-неподвижными глазами, и по правому виску, от линии волос вниз к скуле, ползло что-то, чего Амара не могла назвать ни опухолью, ни сыпью. Серебристо-чёрный узор, ветвящийся фрактал, тонкий, как иней, расписавший стекло за ночь. Он не выглядел больным. Он выглядел красивым. И это было хуже всего, потому что Амара двадцать лет лечила болезни, а красоту лечить не умела — красоте у её ремесла не было названия, а у безымянного нет и лечения.

На экране у койки крутился объёмный скан его мозга. Амара подошла; врач рядом что-то говорил — «дифференциальный диагноз», «ничего похожего в литературе», — но

она уже не слышала. Она смотрела на узор внутри черепа брата: тот же фрактал, что снаружи, прорастал вглубь, оплетая борозды, и в одной точке, в развилке, где он смыкался, коротко вспыхнул единственный синапс — серебром, ярче прочих.

И в этот миг — на ту самую злую полсекунды — Амара узнала чувство.

Это было оно. То, что вело её руку над аневризмой час назад. Та же чужая, большего размера уверенность — только теперь не помогающая ей, а смотрящая на неё из головы Тунде, оттуда, где вспыхнул синапс. Будто всё это время ведущая её рука и эта прорастающая в брате решётка были одним и тем же. Будто тёплая рука старшего, что водила её клипсу двадцать лет, и иней на виске брата росли из одного корня.

Что-то очень холодное прошло у Амары вдоль позвоночника — не страх хирурга у стола, тот она знала, а другой, древний, из той части мозга, что старше слов. Узор был знаком. Она не должна была знать этот узор. И знала.

— Доктор Оконкво? — повторил врач. — Вы что-то узнаете?

— Нет, — сказала Амара. Впервые в жизни, в операционном вопросе, она солгала. — Ничего.

Часть вторая. Поводок

К утру решётка прошла Тунде до второго виска, и он начал говорить.

Сначала Амара приняла это за бред — обычный, понятный, который она слышала у сотен послеоперационных. Бред — старый знакомый, у него есть лицо, его не боишься. Но бред подчиняется логике повреждённого мозга: путает имена, теряет слова, ходит по кругу, цепляется за родное и тонет в нём. Тунде не путал. Тунде выговаривал — чисто, бегло, с интонацией лектора, уверенного в материале.

— Кривизна в этой точке положительна, — сказал он ровным чужим голосом, глядя в потолок. — Метрика смыкается. Перенос вдоль контура даёт дефект. Вы называете это памятью.

Амара стояла у стекла. Рядом ординатор торопливо записывал, будто запись могла что-то спасти.

— Он... это что, физика? — прошептал ординатор. — Он же пилот. Откуда...

— Префронтальная расторможенность. — Амара услышала собственный голос — ровный, профессиональный, выстраивающий стену из знакомых слов. — Конфабуляция на фоне новообразования. Мозг достраивает связный текст из шума. Бывает.

Не бывает. Конфабуляция не цитирует дифференциаль-

ную геометрию на языке, которого пациент не знает. Конфуляция бормочет, повторяется, рассыпается. А это было обратное рассыпанию — это была сборка, нарастающая стройность там, где мозг должен распадаться. Но называть вещи знакомыми именами было её ремеслом и её защитой. Пока у симптома есть имя из учебника, мир ещё держится в рамках, где Амара — главная, где Амара знает, что делать. Она цеплялась за диагноз, как цеплялась за список с сатурацией Зоры. Назвать — значит почти вылечить. Назвать — значит хотя бы не бояться.

Тунде заговорил снова — и голос сменился. Не интонация — сам тембр, будто говорящих внутри было несколько и они менялись у одного микрофона.

— Урожай этого сектора созревает медленно, — произнёс женский голос ртом её брата. — Но горе хорошее. Горе всегда вызревает лучше радости.

Ординатор перестал писать.

И вдруг — рывок. Лицо Тунде исказилось, зеркальная гладь в глазах треснула, и сквозь неё на одно мгновение глянул он сам — её младший, перепуганный, тонуший, тот мальчик, которому она читала по ночам.

— Амара. — Голос был его, надтреснутый, родной. — Оно меня читает. Ему нравится... не давай ему Зо...

Гладь сомкнулась. Лицо разгладилось. Чужой голос закончил предложение спокойно и не тем смыслом:

— ...золото созревает по всему небу.

Амара прижала ладонь к стеклу. Стекло было холодным. С той стороны брат снова смотрел в потолок, и по его второму виску иней доползал до скулы, и она не успела понять, какой слог он не договорил. Не позволила себе понять. Это тоже было ремесло — откладывая то, что сейчас оперировать нельзя. Складывая в дальний угол стола, под салфетку, до конца смены. Она складывала туда «Зо» рядом со знакомым узором, который не должна была знать, и салфетка уже не закрывала.

Имани Рейес она не видела двенадцать лет — с тех пор, как имя Рейес вычеркнули отовсюду, где оно стояло рядом со словом «учёный».

Когда-то Имани учила её держать руку. Не оперировать — это другие, — а именно держать: дышать у стола, отделять страх, не дрожать в шестом часу. «Хирург — это не пальцы, Амара, — говорила она тогда. — Хирург — это нервная система, которая решила не паниковать». Потом Имани сошла с ума — так писали, так говорили в коридорах, так Амара сама однажды сказала коллеге, отводя глаза. Имани начала утверждать невозможное — про решётки, про сигналы, про то, что нас кто-то возделывает, — и носилась с этим, и её сначала жалели, потом сторонились, потом тихо убрали из всех советов и программ, и Амара, как все, отвела глаза и была занята, очень занята, у неё была дочь и карьера, вы-

строенная на дарёной медицине, и слушать про то, что дар — это поводок, было некогда и неприятно.

Теперь Имани стояла в дверях ординаторской. Седее и суше, чем в памяти, в старой куртке не больничного, а миссионного кроя, с выцветшей нашивкой давно закрытой программы и именем под ней, которое Амара не разглядела. Левая рука Имани мелко, непрерывно дрожала. Имани придерживала её правой — привычным, отработанным жестом, будто всю жизнь держала что-то, что рвётся наружу, и научилась держать на ходу, не думая.

— Здравствуй, Амара, — сказала она. — Прости, что прихожу так. Но у тебя там, за стеклом, мой старый знакомый. И времени у нас — пока твой Коул не пожмёт руку.

— Какой Коул? — Амара не пустила её внутрь, встала в проёме, и сама удивилась этому движению — двенадцать лет назад она вышла бы навстречу. — Имани, тебе нельзя здесь быть. Тебя отозвали из...

— Меня отозвали, потому что я была права. — Имани сказала это мягко, без обиды, как говорят о давнем шраме. — Это редко прощают. Правота не вовремя обиднее лжи. — Она кивнула за стекло, где Тунде выговаривал в потолок чужими голосами. — Ты ведь уже слышишь, что он говорит вещи, которых не знал. Цитирует то, чему не учился. Скажи мне как врач, честно, без учебника: откуда у пилота дифференциальная геометрия?

— Конфабуляция...

— Нет. — Слово было без злости, оттого тяжелее. — Это не он достаёт знание из себя. Это знание достаёт его — из общего хранилища. Из того же хранилища, Амара, откуда пришла твоя терапия. И мой метод держать руку. И тот доступ через борозду, которым ты сегодня спасла кому-то речь, я уверена. И половина «необъяснимо изящных» открытий последних двадцати лет.

Амара молчала. За двенадцать лет она научилась не слушать эти слова. Но сейчас они падали в неё иначе, потому что в десяти метрах за стеклом лежал брат и цитировал хранилище, и потому что час назад её собственная рука нашла сосуд раньше глаз, и Амара впервые за двадцать лет спросила себя — чья это была рука.

— Ты хочешь сказать, — голос её сел, — что медицина, которой я спасаю людей, — что она...

— Я хочу сказать, что её нам дали. — Имани наконец вошла, и Амара не остановила её. — Решётки не растут из космоса, Амара. Они растут из нас. Они лежат в нашей ДНК с самого начала — латентные, свёрнутые, ждущие сигнала. Твой брат подошёл к той аномалии слишком близко, и порог сработал, и решётка в нём начала разворачиваться. То, что ты видишь у него на виске, спит сейчас в каждом человеке. В тебе. Во мне. — Пауза, короткая, как вдох перед нырком. — В твоей дочери.

— Не смей, — сказала Амара. Тихо, ровно, тем голосом, которым останавливала кровь. — Про Зору — не смей.

— Двадцать лет назад я держала на руках свою дочь. — Имани говорила тихо и ровно, как говорят то, что повторяли себе тысячу ночей, пока слова не стёрлись до гладкости камня. — Её звали Сол. У неё началось это раньше, без всякой аномалии — раннее, редкое цветение. Я смотрела, как из неё это растёт, как она начинает говорить чужими головами, и я была нейробиологом, лучшим в своём поле, и я не молилась — я записывала. Я реверс-инжинировала истину из мозга собственного ребёнка, потому что больше мне ничего не оставили. Когда не можешь спасти — препарлируешь. Это единственная молитва, которую знают такие, как мы с тобой. И знаешь, что я нашла?

Амара не ответила. Ответить значило шагнуть туда, откуда не возвращаются прежней.

— Что это не болезнь и не дар. Это поводок. — Имани подняла дрожащую левую руку, посмотрела на неё, как на чужую, как на улику. — Нам выдают знание дозами, как лакомство собаке. Ровно столько, чтобы мы тянулись и работали. А работа наша — думать. Они снимают с нас то, что мы надумали. Наше горе, наше искусство, наши сны. Каждую бессонную ночь, каждую картину, каждую теорему. Мы для них не люди, Амара. Мы — урожай, который сам себя возделывает, гордится своими всходами и благодарит за дождь.

За стеклом Тунде вдруг повернул голову. Впервые за ночь — повернул, медленно, и зеркальные глаза нашли Амару сквозь стекло, безошибочно, через всю ординаторскую, и чу-

шой голос, спокойный и довольный, как у садовника на закате удачного дня, произнёс отчётливо:

— Маленький узел в её доме почти созрел. Тёплый. Частичный. Мы потянем его, когда замкнётся контур.

Тишина в ординаторской стала той громкости, какой не бывает.

— Зора. — Имани сказала это совсем тихо, и в её голосе не было торжества правоты — было сострадание того, кто стоит на этом обрыве второй раз и узнаёт чужую очередь. — Твоя терапия, Амара. Она решётчатая. Все эти восемь лет она вела в твоей дочери тихую, подпороговую активацию — нитку за ниткой, ровной зелёной строкой на твоём мониторе. Зора — частичный узел. Одна из миллионов на дарёных имплантах. Мы все думали, что нас лечат. Нас прикармливали. И когда Коул пожмёт руку — волна потянет их всех. Напрямую. И твою девочку в их числе.

Амара смотрела на брата за стеклом, на иней, доползающий до его горла, и впервые за двадцать лет у стола чувствовала, как уверенность вытекает из рук, как кровь из перфоранта, которую нечем запаять. Слог, который Тунде не договорил ночью, встал на место сам, без её разрешения. *Не давай ему Зо*—. Зору.

Браслет на её запястье, под перчаткой, вдруг стал тяжёлым. Восемь лет она носила его как знак спасения. Сейчас он висел на ней как бирка на скоте.

— Покажи мне, — сказала она. Голос вернулся ровным —

последним усилием, из последнего запаса. — Всё, что нашла. С самого начала. Я хочу видеть данные.

— Я и пришла за этим. — Что-то дрогнуло в сухом лице Имани — не надежда, слишком давно она не верила в надежду, а узнавание, как у человека, который двадцать лет звал в пустоту и впервые услышал отклик. — Ты единственная, кто ещё может попросить данные, а не смирительную рубашку. Но сначала тебе придётся принять одну вещь, Амара, и принять до конца, иначе мы не сдвинемся ни на шаг.

— Какую.

— Что ты — часть поводка. — Имани выдержала её взгляд, не отводя, как держат руку у стола. — Твоё мастерство. Твоя спасённая дочь. Всё, чем ты гордишься, чем ты — ты. Я знаю, чего это стоит, поверь. Я двадцать лет это знаю. Ломать придётся то, что тебя кормит и держит. Свою благодарность придётся возненавидеть. Других дверей нет, я искала.

Дальше Амара действовала, потому что действовать было легче, чем стоять. Это она тоже умела двадцать лет: когда земля уходит, оперируй. Руки в поле, страх у двери.

Она потребовала оградить экипаж от любой связи с Synaptix — и узнала, что поздно. Synaptix уже здесь. Нейроконсорциум держал контракт на «постаномальное наблюдение», его люди в серых бейджах ходили по этажу со вче-

рашнего дня, тихие, вежливые, всюду, и данные о цветении уходили к ним в реальном времени, а наружу не уходило ничего. Эпидемия, говорили родным в коридоре. Неизвестный поствирусный синдром. Карантин. Не подходите к стеклу.

— Они не лечить его собираются, — сказала Имани, глядя на серые бейджи спокойно, как смотрят на старых, изученных хищников. — Они его читают. Им нужен живой развернувшийся интерфейс. Образец. Чтобы достроить свой.

— Свой — что?

Имани вывела на больничный экран то, что Synaptix не прятал, потому что этим гордился — открытую трансляцию, которую крутили сейчас все каналы мира.

На экране возник человек. Немолодой, безупречно спокойный, с лицом, которое, кажется, не повышало голоса последние двадцать лет, — и эта неподвижность была не пустотой, а чем-то закрытым наглухо, давно и насовсем. Под ним бежала строка: *ЛИСАНДР КОУЛ, SYNAPTIX.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.